
Станислав ЭРКЛИЕВСКИЙ

ОСТАВШИЕСЯ В СОРРЕНТО

Рассказ

1. Звонок

Алексей сидел на кровати матери, подперев кулаками лицо, в полном опустошении, погруженный в поток сознания, из которого невозможно было выловить хоть какую-то цельную мысль.

О том, что мать в больнице, Алексей узнал от ее соседки Нины Семеновны, живущей двумя этажами выше. Ей когда-то были оставлены номера телефонов, по которым нужно звонить в случае крайних или внезапных обстоятельств.

Сейчас были не те крайние или, как причитала Нина Семеновна — «Спаси Бог», — внезапные обстоятельства, но она была так напугана видом своей подруги по вдовству, что сразу после отъезда «скорой» набрала ее сыну.

Тем же вечером Алексей купил билет на ближайший поезд и уже утром следующего дня был в городе, из которого бежал когда-то в поисках чего-то, чего — он так и не смог сформулировать.

Комната пахла лекарствами, псиной, искусственными цветами, старыми книгами, вещами, лежащими годами, аккуратно сложенными в шкафу, и липой, одиноко растущей так близко к дому, что ее листва могла беззастенчиво заглядывать в приоткрытое окно четвертого этажа, иногда постукивая по стеклу, напоминая о своем присутствии.

Но один запах, проявлялся не сразу, он, как основа в дорогих ароматах, медленно пробивался через завесу быстрых запахов, постепенно оттесняя и перекрывая их, заполняя собой все пространство, и через какое-то время уже казалось, что все в комнате наполнено только им, и этот запах невозможно было спутать ни с каким другим в мире — запах своей матери.

Найда, старая собака дворовой породы, не видевшая Алексея более десяти лет, помнила его и ластилась около ног.

Найду еще щенком подобрал отчим Алексея, который прожил с его матерью двадцать шесть лет и, ничем не болевший, умер в прошлом году во сне от тромба, оторвавшегося ночью.

Смерть была такой тихой и быстрой, что мать Алексея только к утру поняла, что обнимает уже остывшее тело.

Станислав Юрьевич Эркиевский — сценарист, актер, режиссер. Родился в городе Пензе в 1977 году. Окончил ВГИК, актерский факультет — мастерская А. В. Баталова, как актер принял участие более чем в сорока фильмах. В 2017 году окончил ВКСР факультет режиссуры — мастерская И. М. Квирикадзе. Автор восьми сценариев, пять из которых поставил как режиссер. Живет в Москве.

Алексей по-своему любил этого доброго человека, но на его похороны приехать не смог. Очень важная и уже забытая причина оставила его в Москве.

Из потока сознания Алексея выдернуло «Вернись в Сорренто», поставленное рингтоном на его мобильном телефоне.

Звонивший, не представившись, начал тараторить, перескакивая с темы на тему, то рассыпаясь в комплиментах, вспоминая какой-то сериал, где Алексей снимался, то говорил про людей, которых Алексей непременно должен знать, о какой-то встрече, вспоминал двор дома, где Алексей жил в школьные годы.

Бывшие друзья по двору и школе обычно звонили с просьбой денег, которые никогда не возвращались, или пожить несколько дней на квартире Алексея, которую он снимал в хорошем районе Москвы, с парком через дорогу.

Кому-то хотелось погулять по столице, а кому-то нужно было перекантоваться с детьми, почему-то за неделю до рейса самолета, несущего их на моря.

Как правило, и те и другие много пили, возвращались непонятно когда и всегда оставляли после себя срач, вероятно, считая, что уже живут в гостинице, номер которой они оплатили по системе «все включено», и после их отъезда придет горничная, которая все уберет.

Устав что-либо объяснять и злиться на них, а главное, на себя, Алексей прекратил эту практику натянутого гостеприимства, выдавая заранее придуманные ситуации, как бы мешающие ему принять гостей или одолжить денег, чем, конечно, серьезно обидел старых, добрых друзей, которые тут же вынесли вердикт: Оторвался от народа! Зазвездился!

Выдавая односложные фразы и готовя вариант отказа на предполагаемую просьбу, Алексей перебирал в голове людей, пытаясь понять, кому принадлежит начинающий казаться знакомым голос.

— Ты че, меня не узнал, да? — с явной претензией прозвучало из трубки.

— Честно говоря, нет, — ответил Алексей.

— Ну, давай угадай. Угадаешь, да? — голос явно был доволен сложившейся ситуацией. — Думай, думай, — радостно подначивал звонивший.

От раздражения Алексей закрыл глаза, готовясь положить трубку.

— Это твой одноклассник... Филиппов... Вспомнил, да? — и, словно отвечая на мысль Алексея, добавил: — Мне твой номер Миха дал. Помнишь его, да? Он в прошлом году у тебя голову разбил, кажется.

— О, Саша, привет. Теперь узнал. Как ты?

Голос Филиппова, отметил Алексей, почти не изменился — такой же низкий и глухой, как из железной трубы, каких полно лежало на стройках, где дети советского периода, предоставленные сами себе, проводили большую часть своих счастливых дней.

Алексей не слышал одноклассника и не знал о нем ровным счетом ничего более двадцати лет.

Филиппова в школе недолюбливали многие ребята. Он всегда был слишком правильным, с постоянным румянцем на щеках, уже тогда на голову выше ровесников, общался с ними исключительно слегка запрокинув светлокудрявую голову.

Круглый отличник, он не считал троечников и даже твердых хорошистов равней себе, и Алексею всегда хотелось уронить что-то тяжелое на его пышущее здоровьем, вздернутое вверх лицо.

Но больше всего раздражала его безупречно выглаженная школьная форма с бритвенно-острыми стрелками на брюках, которые Алексею никогда не удавалось сохранить хотя бы до конца первого урока, поскольку думать о них он переставал, как только переступал порог школы: слишком много важного происходило до звонка.

Филиппов же, никогда не участвовавший в чем-то, что могло испортить его внешний вид, возвращался домой, словно и не садился за парты, хотя и не без интереса поглядывая на ребят, игравших после уроков в клек.

— Я — хорошо, расскажу при встрече. Так ты придешь, да? — спросил он торжественно-радостным тоном.

— Куда? — машинально, не понимая сути вопроса, переспросил Алексей.

— Я же говорю, встреча выпускников, двадцать шестого, в семь, — пояснил Филиппов, и Алексей мысленно увидел, как он при этом вздернул голову.

О встрече выпускников Алексей никак не ожидал услышать и поэтому выдал первое, что пришло в голову:

— А, да. Это здорово, но я никак не могу. Я в Москве, и приехать вряд ли получится...

— Тебя видели в городе, — перебил Филиппов. — Но если ты не хочешь, так и скажи, — в голосе звучала издевка. Поймав на лжи, Филиппов тут же ткнул в нее носом бывшего одноклассника и ехидно добивал:

— Зазвездился, да?

Волна брезгливости передернула Алексея. «Надо было сразу сказать про мать, — подумал он. — Сказать сейчас — будет выглядеть как очередное вранье». И, испытывая чувство вины и неловкость человека, пойманного на лжи, Алексей сказал, что придет, уточнив для приличия еще раз дату, время и место встречи.

— Так в ресторане «Тернополь», где выпускной отмечали! Помнишь, да? — съехидничал Филиппов.

— Он еще работает?

— Работает, куда он денется. Скидываемся по три тыщи, — добавил Филиппов тоном учителя, требующего у двоечника дневник. — Еда, алкоголь, понимаешь, да? Но ты можешь и десятку, если хочешь что-то особенное. Мы же не знаем, что у вас там в Москве пьют.

Алексея передернуло еще раз, и, уже сдерживаясь, чтобы не послать собеседника в известном направлении, он ответил:

— Я не пью.

— Болееешь, что ли, да? — снова съехидничал Филиппов.

— Нет. Просто не пью, — показно спокойно подчеркнул Алексей.

— А, ну понятно. Ну, ты же трешку добавишь, а то... понимаешь, да?

— Да, хорошо. Извини, Саш, у меня вторая линия, нужно ответить.

— Ну да, конечно. До встречи. Ждем, — явно желая первым положить трубку, проговорил Филиппов.

С досады, что не смог отвертеться от этого мероприятия, Алексей громко выругался вслух, отчего собака, поджав уши, побрела на свое место.

— Найда, я не тебе, — Алексей подошел к собаке и погладил ее седой загривок.

Найда лизнула ему ладонь и положила на скрещенные передние лапы свою морду с задумчивым взглядом, который бывает только у старых собак.

Алексей не мог с теплотой припомнить ни одной встречи выпускников или старых друзей. Все они, как правило, шли по одному сценарию: после второго или третьего тоста, рваных воспоминаний о школьных годах, шуточках того же периода и кратких рассказов о себе, поднимающих свою социальную значимость, все сводилось к расспросам о богемной, как они говорили, жизни столицы, и задавались одни и те же вопросы из неменяющегося опросника провинциала: «А ты этого знаешь?» — «А тот — педик?» — «А она такая же стерва, как и в фильме?» и, конечно: «А с кем кто спит, чтобы попасть в кино?»

Несомненно, задавались эти вопросы для того, чтобы скатать столичную жизнь с грязью, убедив себя тем самым, что свое болото лучше да и в целом жизнь удалась.

Перспектива совершенно ненужного застолья с ненужными воспоминаниями, как правило, обильно заливаемыми алкоголем, так как всегда за что-то нужно выпить, в кругу людей, для общения с которыми хватило бы случайной встречи, расстраивала Алексея. Да и денег было в обрез.

Предвидя расходы на врачей и прочие бытовые нужды, Алексею перед отъездом пришлось занять денег у человека, к которому он зарекся обращаться с какой-либо просьбой и который был бит Алексеем еще в институте за грязный язык. И поэтому каждый рубль нес в себе дополнительный номинал раздавленного самоуважения.

Последнее время дела, мягко говоря, шли совсем не очень. Еще в начале зимы, серьезно повредив спину, Алексей остался совсем без работы, и к лету все накопления испарились в поликлиниках, больницах, карманах хирургов, реабилитологов, остеопатов и прочих околomedicalных проходимцев, живущих за счет надежд и бед людей, которые, понимая, что это проходимцы, все же несут им свои последние кровные.

Вся жизнь, строившаяся годами, разваливалась и рассыпалась на глазах окончательно, начиная от стены в прихожей, в которую, головой въехал пьяный друг детства, гостивший пару дней, и кончая верой в сегодняшний и завтрашний день, а главное — в себя самого.

Конечно, ощущение это появилось не сразу и даже не в последние полгода — это сидело в глубине души всегда, тщательно скрываемое суетой дня, и, как беспощадная ржавчина, медленно разедало восприятие того прекрасного, что есть в мире, оставляя после себя пустоту. И лишь травма спины, обездвижившая Алексея на несколько месяцев, проявила то, что он так отчаянно не хотел видеть долгие годы.

Все те, с кем Алексей общался в институте или по работе, не сумев разгадать его или пробиться через его закрытость, необъяснимо для себя побаивались Алексея, делая невероятные предположения о его жизни, рождая слухи самого разного толка.

Расстраиваясь настоящим, Алексей все больше рефлексировал о прошлом, передумывая, где он ошибся и что сделал не так, почему жизнь, которая еще вчера казалась полной надежд и открытой для новых свершений, сегодня виделась как бесполезно прожитые годы, потраченные на бессмысленное удовлетворение своих желаний, потребностей и поиска того самого «нечто», о котором говорил известный философ, сошедший, впрочем, с ума.

Эмоциональная пустота медленно и незаметно выросла до таких размеров, что Алексей уже не видел краев этой воронки, которая, затягивала в себя всю радость жизни, весь ее смысл, мечты, устремления и планы на будущее, все больше погружаясь в этот черный омут. Алексей пытался понять, пытался вспомнить точку отсчета, когда в него попало это маленькое зернышко такой разрушительной силы.

Он верил, если вспомнить первопричину, осознать ее, то непременно пустота отступит или, по крайней мере, больше не будет иметь власти.

2. Карантин

К матери не пустили — в отделении был карантин.

Прочитав список продуктов, разрешенных к передаче, Алексей положил на стол санитарке триста рублей, которые тут же исчезли в кармане ее белого халата, гарантируя тем самым, что продукты не будут подвергнуты ревизии. И взяв пакет Алексея вместе с передачками других посетителей, эта иссохшая, словно отломленная ветка, женщина с пакетами наперевес не спеша скрылась за белой дверью с маленьким обшарпанным окошком.

Почти не спавший в дороге Алексей сел в откидывающееся деревянное кресло, какие обычно стоят скрепленные по трое в коридорах различных учреждений, и закрыл глаза.

Мысли роились, наслаивались и перебивали друг друга, все больше затуманивая сознание, и мозг, не справляясь с этим потоком, самопроизвольно отключался, но тут же не знающие сна рефлексывали одергивали упавшую голову.

Алексей шел по безлюдной стройке, пересекая, словно барханы, кучи песка, переступая через хаотично разбросанные железные трубы, огибая высокие стопки красных кирпичей, сложенных на деревянных платформах. Повсюду из земли торчали пахнущие бетоном и холодом сваи фундамента, где-то справа работала машина, заколачивающая эти самые сваи. Над головой пролетела бетонная плита, переносимая краном, никем не управляемым. В самом центре стройки Алексей заметил женскую фигуру, и, подходя ближе, все в ней: ее большие в светлой пластмассовой оправе очки, ее покрашенные хной волосы в мелких от химической завивки кудряшках, и старомодное платье с накладными карманами — говорило, что она не просто знакома Алексею, она каким-то образом близка ему. Женщина держала в руке молодое, но уже засохшее от корней до скудной кроны, без единого листика, деревце, которое она собиралась посадить.

— Оно погибло, — указывая на дерево, сказал Алексей.

Женщина оценила саженец, словно видела его в первый раз.

— А мы его в песок. Мертвое в мертвое, — с этими словами она воткнула дерево в песок и, держа за ствол, провернула в разные стороны, углубляя корни.

— Зинзиля! — Алексей узнал ее и в ужасе шарахнулся назад.

Перед ним стояла учительница биологии и его классный руководитель Зинаида Витальевна, умершая через два года после их выпуска.

Зинзиля, установив дерево в песочной куче, стала вешать на него, цепляя к сухим веткам при помощи канцелярских скрепок парафиновые огурцы, груши, помидоры и красные яблоки, доставая их из карманов, как фокусник.

— Узнал меня? — Учительница криво улыбнулась, склонив при этом голову набок неестественно низко.

Алексей не в силах пошевелиться смотрел на покойницу, которая протягивала ему надкусанное яблоко.

— Это ты, ты испортил школьное пособие! — усиливая голос, проговорила Зинзиля. — Теперь жри его до конца! — Она захотела сунуть яблоко в лицо Алексею, но он, успев увернуться, побежал в обратную сторону, увязая в песке.

— Кузнецов! Кузнецов! Кузнецов! — словно сваи, вколачивала Зинзиля каждое слово.

— Кузнецов! — уже из реальности услышал свою фамилию Алексей и открыл глаза.

— Кузнецов, заберите, — санитарка стояла перед поставленным на стол пакетом, явно недовольная, что пришлось нести все это обратно.

— Вы определитесь, надо — не надо. Мне это надо? Таскать туда-обратно! — напуская важности, явно не желая возвращать триста рублей, процедила санитарка.

— Почему? — не совсем проснувшись, спросил Алексей.

— А я откуда знаю... Вот записка!

Санитарка протянула вчетверо сложенный клочок бумаги:

— Как будто у меня других дел нету, — и, оскорбленная до глубины души, сев за стол, принялась внимательно рассматривать на нем трещины.

Положив еще сто рублей, Алексей забрал пакет и записку. Отойдя от стола и развернув листок, он сразу узнал размашисто-округлый почерк, похожий на врачебный:

За телефон — спасибо.

Приносить больше ничего не надо.

Собаку отведи к соседке.

Сам возвращайся.

«Ну, зачем?» — с этой мыслью в груди Алексея появилось глухое, давящее чувство. Он скомкал и выбросил листок в бак для использованных бахил, стоящий на выходе.

Первое желание было позвонить матери, но зная, что ни к чему хорошему это не приведет, Алексей нажал «отбой».

Накрапывал дождь.

Мокнуть, идя до остановки автобуса, не хотелось — хотелось закурить. Простуживая карманы ладонью, Алексей вспомнил, что забыл купить сигареты себе и что в передатке лежали три пачки «Явы», которую мать курила с незапамятных времен. Алексей поставил пакет на ступеньку и, укрытый железным козырьком проходной, стал искать желанную пачку.

Пачки лежали на своем месте. «Да, она же бросила... Блин!» — с досадой, что забыл этот факт, подумал Алексей, но заметив отсутствие фруктов, с еле заметной улыбкой выдохнул:

— Хоть что-то.

Алексей закурил.

Сизый дым густой струей выходил из-под козырька, не обращая внимания на уже начавшийся ливень.

Под маленьким козырьком стали собираться люди, посетители больницы и случайные, насквозь промокшие прохожие, которые, понемногу отвоевывая территорию, недовольно косились на курящего человека. От взглядов и мыслей этих завоевателей появилось чувство тесноты. Алексей сделал последнюю, демонстративную затяжку, затушил сигарету об урну и вышел из-под козырька. Поток воды с неба тут же смыл с него чужие взгляды и мысли.

Алексей думал про эти фрукты: если мать их взяла, значит, все-таки возможен разговор, который при каждой встрече висел в воздухе и который должен был состояться еще много лет назад, но каждый раз откладывался.

Самые близкие люди, боясь поговорить один раз, чтобы не наговорить лишнего, предпочитали не говорить друг с другом вовсе.

Отношения «мать — ребенок» не сложились с первых секунд их встречи.

Алексей родился морковного цвета. Врачи, предполагая врожденное инфекционное заболевание, не приносили ребенка несколько дней, что для матери было, скорее, благом. Измученная долгими родами, она словно отключилась и, потеряв счет времени, находилась в забытии несколько дней подряд.

Предположения врачей не подтвердились, и на четвертый день маленького Алексея принесли на кормление.

Еще находясь в состоянии, оторванном от реальности, Вера не сразу поняла, что ей положили в руки и что хотят от нее.

Желтый комочек ревел, растягивая конечности в разные стороны, вываливаясь из рук, и от накатившей волны страха мать протянула ребенка медсестре.

— Заберите, — проговорила она.

Но уже через полчаса чувство долга стало преобладать над страхом и усталостью, и она попросила принести ребенка.

Муж не пришел ни на первый, ни на второй, только ближе к ночи третьего дня, когда в отделении уже все спали, она услышала за окном знакомый пьяный голос.

— Вера! Вера, ты где? Покажи ребенка!

Вера встала с кровати и было уже двинулась к окну, как высокий женский голос, вторя мужскому, протянул:

— Ве-ра!

Вера пригнулась и на корточках приблизилась к краю окна, стараясь остаться незамеченной. На улице стоял он — отец ее ребенка, а прижавшись к нему, стояла дама,

также не совсем трезвая, широко и довольно улыбающаяся. Первый снег лежал на ее ондатровой шапке, искрясь и сверкая в свете уличного фонаря, как брильянтовая диадема.

— Верочка! — еще раз протянула она.

Вера села под окном не в силах пошевелиться.

— Вера, ты покажешься или нет? Кто родился? Вера, холодно ж, — заорал новоиспеченный отец.

Послышался громкий треск открывающегося старого деревянного окна.

— Ты, козел! Вали отсюда, пока тебя водой не окатили! — вылетело из соседней палаты.

— Я отец! Имею право знать — кто у меня родился!

— Если сейчас не уберешься — вызовем милицию! — кричал женский голос уже из другой палаты.

В наступившей тишине громом разносился по отделению грохот закрываемых непослушных оконных рам, а с улицы еще долго доносился женский смех, пока не растаял где-то за поворотом.

Вере казалось, что этот грохот и смех звучат у нее над головой как над преступником, обнаруживая его и изобличая преступления, которые он совершил.

Стыд и боль перемешались в тугой ком, который перекрыл горло — Вера начала задыхаться.

Делавшая вид, что спит, соседка по палате вскочила с койки и побежала за врачом.

Укол успокоительного никак не хотел действовать, Вера лежала на койке, уставившись в потолок, чувствуя, как все тело пробивал мелкий тремор. Она, первая красавица в городе, лучшая студентка медицинского института, всю жизнь испытывала стыд и чувство вины. Каждый раз, услышав где-то смех, она думала, что смеются именно над ней, над ее положением, над ее не раз перешитой одеждой. Было стыдно, когда соседи возмущенно выговаривали по поводу ночных скандалов родителей и постоянного запаха самогона из квартиры, который ее мать гнала и для продажи.

Вере так хотелось поскорее вырваться из алкогольного ада, который для нее назывался домом, что она выскочила замуж без любви, буквально за первого, как ей казалось, более-менее достойного, встречного. И сейчас, смотря на колышущиеся по потолку тени деревьев, Вера винила себя, желая, чтобы потолок обвалился, погребя ее и всю ее нелепую жизнь, разом решив все проблемы.

Утром принесли ребенка на кормление — он плакал, выплевывал грудь. Вдруг что-то чужое и отталкивающее почувствовала Вера к этому маленькому человечку, как две капли воды похожему на своего отца. Медсестра посмотрела грудь Веры и сухо констатировала:

— У тебя молоко пропало.

Забирала Веру из роддома ее подруга по институту Валя. Она приехала в назначенное время, но застала молодую мать уже стоявшей на крыльце рядом с полноватой медсестрой, похожей в своем красном пальто на елочную игрушку, которая держала конверт из одеяла, перевязанный синей лентой.

От падающего, не по погоде — хлопьями, снега на легком осеннем пальто Веры оставались мокрые пятна. Медсестра хотела было сказать что-то торжественное, но увидев только подругу, выходящую из такси, ограничилась простым:

— Поздравляю. Желаю счастья.

И, передав конверт подруге, скрылась в больнице, стряхивая мокрый снег.

К своей матери Вера ехать не хотела, она знала, что после смерти отца полтора года назад мать ушла в глубокий алкогольный штопор.

Ехать к мужу не позволяла гордость.

— Вер, надо к нему ехать. Увидит ребенка, одумается. Он вон, посмотри, копия его, — подруга откинула уголок одеяла, скрывающий лицо младенца.

— Знаю, — ответила Вера, не взглянув на ребенка.

— Вот и поезжай. Увидит такое чудо, и вся дурь из башки выветрится.

— Не люблю я его, — выдохнула Вера

— А кто сейчас любит? — уговаривала Валя. — Посмотри на людей... все живут... и ничего. О ребенке подумай... Как хоть назвала?

Вера посмотрела на крепко спящее, сморщенное личико и без каких-либо эмоций сказала:

— Леша... Алексей он, — и, забирая ребенка у подруги, выжимая из себя каждое слово, добавила: — Ладно. Поехали к нему.

Из-за навалившего за несколько дней снега подъехать к дому мужа не получилось, пришлось идти с ребенком на руках около ста метров.

Через легкое пальцецо ноябрьский холод пробирал Веру до костей. Валя предложила дать ребенка ей или взять перчатки, но Вера, не ответив, еще сильнее прижимая конверт к себе, шла впереди по заваленной снегом дороге в своих летних туфлях, чувствуя, как намокают ноги.

Дверь открыла свекровь Валентина Николаевна, бывший директор универмага, в свое время отсидевшая за растрату. Валентина Николаевна стояла с фиолетовыми волосами и в тон им стеганом халате, напоминая собой карикатуру портрета Ермоловой. Оглядывая пришедших, явно не желая пускать их в квартиру, произнесла:

— С вас течет, а у меня паркет.

Вера молча смотрела на свекровь.

— И зачем ты сюда? — невозмутимо продолжала Валентина Николаевна.

Валя, ошарашенная таким приемом, начала суетливо стряхивать с подруги мокрый снег.

— Она же — жена. А это сын его и внук ваш, — вступилась за подругу Валя.

Из квартиры донесся знакомый женский смех.

— Кто чей сын и внук, это еще неясно, а кого мой Сашенька приведет, та мне и сноха, — мягко процедила слова свекровь и, улыбаясь, закрыла за собой дверь.

Снег, тая на волосах Веры, стекал каплями по ее лицу.

— Что будешь делать? — спросила Валя.

Вера физически ощущала, как из всех атомов ее тела исчезает воздух и материя, сжимаясь, обрушивается сама в себя. Руки, онемев, перестали чувствовать вес конверта с ребенком.

— У тебя из носа... — рука Вали медленно поднялась и застыла с указательным пальцем.

Вера, опустив глаза вниз, наблюдала, словно в замедленной съемке, как от кончика носа отрывается вторая яркая капля и падает на место предыдущей, увеличивая багровый узор на одеяле.

— С тобой все хорошо? — Валя побледнела от страха.

— Да, все в порядке, — не отрывая глаз от пятна, ответила Вера. — Давление, видимо.

— Да что же они делают? — Валя яростно бросилась к двери с желанием звонить и стучать в нее. — Я ему сама башку оторву.

— Стой. Не надо, — спокойно, но жестко остановила Вера. — Возьми Лешу.

Передав ребенка, Вера достала носовой платок и, запрокинув голову, прижала его к носу.

— Стой тут, я снег приложу, — и, прижимая платок к носу, вышла на улицу.

Сделав снежок, Вера приложила его к носу, потом второй, третий, пока они не перестали краснеть. Подышав на раскрасневшиеся от холода руки, Вера увидела невероятной красоты вид. Было тихо, словно она стояла не во дворе панельного дома, а на опушке леса. Деревья от тяжести богатых пуховых шапок склонили ветви, как бы понимая ситуацию и сочувствуя ей. Снег, похожий на перья, кем-то сверху густо посыпaeмый, не спеша падал, закрывая белой стеной соседние дома. Все сияло белизной и чистотой, только небольшие комочки снега, пропитанные кровью, разрушали гармонию совершенства природы.

Вера застыла в созерцании этого сказочного вида.

Кровь больше не текла.

Из подъезда донесся детский плач, вышла Валя.

— Как ты? — укачивая ребенка, спросила подруга.

— Уже лучше. Ему пора есть, — посмотрев на ребенка, констатировала Вера.

— Что будешь делать? — Валя непонимающе смотрела на подругу.

— Пойду к матери на первое время. Дальше решу.

И, забрав конверт у подруги, Вера двинулась по дороге, разбивая собой снежную стену. Валя засемила за ней.

Мать открыла в выцветшем халате со старой пуговицей от шинели, пришитой чуть ниже левого плеча, подбоченясь правой рукой и держась за входную дверь левой.

— А чего пришла? — начала она с ходу. — Ты же замужняя, вот к мужу и иди.

По связности речи и колебаниям тела в разные стороны Вера могла безошибочно определить стадию алкогольного опьянения матери. «Допита первая бутылка, — оценила Вера. — Концерт в самом начале».

Анна Иоанновна, как называл ее муж, отец Веры, за ее буйный характер, проявлявшийся уже после первых двух рюмок, увидев Валю, поменяла тон и, как настоящая артистка, работала уже на зрителя.

— Так по-людски положено. Жена должна жить с мужем. Так приписано и по божьим законам: «Да прилепится жена к мужу...»

— Анна Ивановна, — с волнением объясняла Валя. — Мы были там, у него любовница в доме, а его мать даже на порог не пустила.

Присутствие подруги и факт того, что злобная стерва — свекровь, которую Анна Иоанновна на дух не переносила за чопорный характер и постоянное приписывание себе благородного происхождения, не пустила сноху с ребенком в дом, — в пьяном мозгу запустили импульсы, поменявшие ее поведение. Теперь при разговоре с соседями можно попричитать — какая же та тварь и какая, разумеется, сама она хорошая — и, конечно, было чем попрекнуть дочь, имея контраргумент на любые упоминания об алкоголе.

Поблагодарив подругу, Вера зашла в квартиру.

В своей комнате она положила спящего ребенка на кровать и, развернув одеяло, села рядом, о чем-то думая, вода взглядом по незамысловатым узорам желтых обоев, слыша, как из кухни доносится стук пустых бутылок, который будоражил в ней воспоминания о детстве.

Мать, сколько помнила ее Вера, пила: «Для аппетита», «От расстройства желудка» или «Для сна», как она говорила, и не видела проблемы в том, что этот сон мог наступить ее тут же, за столом.

Анна Иоанновна и сама не помнила время, когда она не пила.

В первый раз водку ей дали, чтобы унять ее плач, лет в пять в детском доме, куда она была определена после раскулачивания и отправки в неизвестном направлении

ее родителей, точнее, матери — отца расстреляли около сарая, когда он отчаянно не давал вывести из него скотину: «Какие мы кулаки? Мы работаем, еще солнце не встало, и ложимся за полночь, потому и достаток имеем, а эти ни дня не работали, последнее пропивали, стали хозяевами, теперь и куражатся!» — пытался кричать он севшим голосом. Маленькая Аня пыталась остановить отца, вцепившись в его огромную ладонь: «Отдай, батя, отдай», — плакала она. «Погубят же», — успел проговорить он перед оглушающим выстрелом.

Анна Иоанновна помнила, как обмякшая рука отца выскользнула из ее маленьких ладошек и он с глухим звуком рухнул на землю, прямо перед ее ногами.

О матери Анна Иоанновна не помнила ничего, кроме момента, как она с одним узелком в руках садилась на телегу, которая навсегда увезла ее в сторону железнодорожной станции.

Росшая, как сорняк, Анна Иоанновна к шестнадцати годам выглядела немного старше своих сверстников, что помогло ей без труда обмануть призывную комиссию и после курсов медсестер оправиться на фронт, на который она бежала, подталкиваемая патриотическими чувствами, но больше голодом и бесконечной жестокостью, царившими в детдоме.

Она, юркая и упертая, вытаскивала раненых с поля боя, не обращая внимания ни на выстрелы, ни на взрывы, даже когда тертые бойцы ее пехотного полка не решались поднять голову из окопа. Пули, словно заговоренные, пролетали мимо нее.

Однажды после боя Анна Иоанновна обнаружила бороздку на пуговице шинели и насквозь пробитый рукав. Пуля чудом прошла по скользящей.

У бойцов сложилась традиция перед боем, да и просто на удачу прикасаться к этой пуговице, которую Анна Иоанновна хранила потом всю жизнь, перешивая на носимую одежду вместо ордена.

В полку ее уважали за смелость и твердый характер, она к своим восемнадцати имела два ордена «За отвагу», но особого отношения и какой-либо излишней заботы о себе не позволяла, так же как и фамильярности, которая пресекалась тут же и довольно резко.

Острая на язык Анна Иоанновна могла мгновенно осадить зарвавшегося бойца парой слов, после чего даже опытные вояки не находили что ответить, ретируясь под общий хохот.

Совершеннолетие Анны Иоанновны отмечали вместе с освобождением Калуги. Тогда и случился ее первый и единственный роман.

Петр Стрижов со своей группой был переброшен с другого фронта для выполнения задания, о котором никто ничего не знал, и хотя по званию он числился рядовым, было очевидно, что многие, даже из командного состава, побаиваются его и стараются выражать свои мысли с предельной осторожностью.

Петр сразу приметил Анну Иоанновну, а узнав ближе, полюбил. У Анны Иоанновны само слово любовь вызывало смешанные чувства неосознанного страха с непониманием, словно у школьника, который сдавал главный экзамен по предмету, которому в школе не обучали.

Он был старше и на три головы выше ее. В нем чувствовались сила и спокойствие. Рядом с ним она неожиданно для себя становилась простой восемнадцатилетней девочкой. Ее тянуло к нему.

О том, что Петра в тылу ждут жена и маленький сын, Анна Иоанновна узнала, когда его разведгруппу взяли в плен. Тогда же, во время наступления советских войск к польской границе, прямо в окопе, под грохот войны, Анна Иоанновна самостоятельно сделала себе аборт, не плача и не рассуждая по этому поводу.

Плакала Анна Иоанновна единожды за всю свою жизнь, войдя в освобожденный концлагерь. Что-то замкнуло тогда в ее сознании, слезы текли сами собой. Она обнимала истощенные, зачастую обнаженные тела уже мертвых узников, целовала их ввалившиеся лица с полуоткрытыми ртами и, задыхаясь, причитала:

— Ну, как же так? Ну, как же так? Простите меня, родненькие! Простите!

Ее сослуживице, убитой позже снайпером под Берлином, пришлось вытаскивать из ее рук окоченевшие трупы, дать ей пощечину и влить силой спирт, после чего боец Красной армии, старший сержант санитарного взвода Анна Смеянова успокоилась, вытерла слезы и пошла выполнять свою работу.

Под Варшавой была ранена, представлена к награде и после госпиталя демобилизована, а там и кончилась война.

Перед отправкой домой, получив медаль «За боевые заслуги», она узнала, что Петр бежал из плена, добрался до своих и ими же был сослан в лагерь куда-то в Сибирь. Больше о нем она не слышала и не интересовалась его судьбой.

В совхозе, где ей выделили дом, звали в местную больницу, но по медицинской линии Анна Иоанновна работать не захотела.

— Устала я, — сказала она и пошла работать на птицеферму.

Жила обособленно, а на любые попытки ухаживания мужчин отвечала спокойным равнодушием, пока осенью пятьдесят третьего в ее дом не постучали.

На пороге стоял Петр.

Она заметила еще издали идущего по дороге от железнодорожной станции сутуловатого мужчину и сразу узнала его, хотя и не было в нем прежней стати, старый пиджак, словно с чужого плеча, висел на нем, да и от черных волос остался небольшой лоскут, который, словно пришитый, торчал в седой копне с левого бока.

Не было у них ни объятий, ни радостных приветствий, они молча стояли на крыльце дома, глядя друг другу в глаза.

Анна Иоанновна не спрашивала, где он был, почему жена с сыном не приняли его, все ответы были в его гнутой спине и потускневших глазах.

Она просто открыла дверь, он просто вошел.

В пятьдесят четвертом родилась Вера. После пережитого обоим родителям казалось, что жизнь наконец-то вернула им долг.

Петр первое время с радостью сидел с дочерью, когда Анна Иоанновна с рассветом уходила на птицеферму. Для него это была хоть какая-то возможность приложить свои силы и быть полезным. Да, его реабилитировали полностью, но на работу никуда не брали, никто не хотел иметь дело с человеком, пришедшим из лагеря. «Десять лет просто так не сидят», — настороженно переговаривались люди и отказывали в любой работе. Народ начал сторониться и Анну Иоанновну. «Мало ли что», — и постепенно изолировал их от себя.

Да они и сами становились чужими друг другу, Петр все больше считал ошибкой свой приезд сюда. «И зачем он мне сказал, где она живет?» — вспоминал он встречу с однополчанином. Ей же казалось, что она сможет преодолеть обиду — простить, но не смогла и молчаливо носила ее в себе. Обида с каждым днем росла, и тяжесть эта была уже неподъемна.

Петр переживал, переживала и Анна Иоанновна, переживали одинаково сильно, но отдельно друг от друга. Она приходила с работы чуть навеселе и не замечала, что он тоже не совсем трезв, и наконец они стали переживать вместе, уже не стесняясь друг друга.

Пили так, словно это было соревнование.

Поначалу, как бы ни было тяжело после выпитого вечером, утром родители вставали, делали все, что требовал новый день, но уже совсем скоро ночь стала перетекать в день, день меняться местами с ночью и длиться это могло неделями.

С работы Анну Иоанновну попросили, но за военные заслуги она смогла выбить себе отдельную квартиру в городе, куда она и переехала с мужем и Верой.

Как все переезжающие, Вера надеялась, что вместе с переменой места жительства изменится в лучшую сторону и сама жизнь. Казалось, кто-то наверху услышал мольбы девочки, уставшей от постоянного стука бутылок, вечных склок и выяснения по каждому поводу — кто прав.

Родители не пили полгода и даже оба устроились на работу, правда, всегда были без настроения и раздражительны, но эти полгода Вера была счастлива.

Дальше опять пошло по накатанной, и до окончания школы Вера не могла вспомнить хоть день, когда родители были трезвыми.

Проучившись в медицинском два года, Вера решила оставить учебу, как ни уговаривали ее педагоги не бросать институт или хотя бы взять академ. Она в один день, забрав документы, устроилась в заводскую столовую раздатчицей, где, как Вера решила, будут и деньги, и каждый день еда.

Оставляя с утра ребенка со своей матерью, Вера не знала, что ее ждет вечером. Бывало, она находила Лешу ползающим вокруг бесчувственного тела в стельку напившейся матери.

Несколько раз соседи забирали непонятно каким образом оказавшегося на лестничной клетке ребенка к себе, и Вера в панике металась по квартире и подъезду в поисках ребенка, пока Лешу не приносили соседи, которых Вера, сгорая со стыда, благодарила продуктами, принесенными из столовой.

В ясли ребенка не брали, мотивируя отсутствием мест, а дать взятку, которая оценивалась в несколько месячных окладов, у Веры просто не было возможности.

Уложив вечером сына, Вера негромко включала свой старенький черно-белый телевизор «Горизонт», который удалось в последний момент и с большим скандалом спасти от обмена на алкоголь.

По телевизору выступала Валентина Терешкова — говорила о защите женщин и матерей. Не веря в результат, скорее от отчаяния, Вера написала первой женщине-космонавту письмо, где изложила свою ситуацию.

Прошло несколько недель, и, совершенно забыв о письме, Вера пришла на работу, где ее ждали недовольные, но порядком испуганные люди из роно. Они, буквально скрипя зубами, сообщили, что место в детском саду нашлось. «Приходи оформлять ребенка», — с казенным видом сказали чиновники.

Оказалось, что ответ из Москвы не просто пришел, а, как говорили очевидцы, сама Терешкова позвонила кому следует и этого кого следует разнесла, не стесняясь в выражениях. Также стало известно, что несколько чиновников лишились своих должностей.

Весть о том, что сама Терешкова вступилась за одинокую мать, быстро разнеслась по маленькому городку. Вскоре Веру перевели из раздатчиц в буфетчицы, где и зарплата была больше, да и не так тяжело, как в столовой.

Жизнь, казалось, налаживается. Про Веру даже написали в местной газете как о лучшем работнике, разместив ее фотографию с белоснежной улыбкой. И теперь мужчины ходили не в столовую обедать, а перекусывали бутербродами и пирожными в буфете, мечтая о красавице, стоящей за стойкой.

Верин неприступный характер был известен далеко за стенами буфета, чем еще больше подогревал интерес к ней представителей противоположного пола, вызывая

этим не самые добрые чувства пола женского. Но на все это Вера смотрела крайне отстраненно.

Впрочем, ее эмоциональная непроницаемость стала распространяться на все аспекты жизни. Однажды порезав палец, Вера не то чтобы вскрикнуть, она не позволила дрогнуть ни одной мышце на своем лице.

Мальчик рос, и она видела, как он меняется, становясь все более похожим на нее не только внешне, но и характером, который был у нее в юности: Леша был открыт, добр и доверчив. Это пугало Веру, а после, как Леша предположил, что дымящиеся заводские трубы — это фабрики по производству облаков, она решила воспитывать его без иллюзий к миру, сильным, смелым, с легкостью принимающим удары судьбы. Поскольку мальчик рос без отца, то эту функцию в воспитании и формировании ребенка Вера полностью взяла на себя, так как она себе это представляла. И как человек, не терпящий двойных стандартов, эту аскезу чувств Вера обратила и на себя.

3. Встреча

Двадцать шестого вечером, выгуляв собаку, Алексей отправился на встречу выпускников. До ресторана, где все собирались, было остановки две на автобусе, но Алексей решил пройти пешком, словно оттягивал время, мысленно желая, чтобы к его приходу все уже закончилось и он, не застав никого, вернулся бы домой.

Некогда модный ресторан, окруженный молодыми тополями, теперь казался низким и серым. Его замшелость подчеркивали неумелые граффити на стенах и коряги, оставшиеся от погибших деревьев из-за бесконечного потока посетителей, не желающих дожидаться своей очереди в туалет.

Но музыка была та же и гремела так же на все возможные децибелы.

Алексей остановился метрах в тридцати и, прислонившись к дереву, закурил, наблюдая, как стайками по двое-трое поднимались покурить нарядно разодетые и уже подвыпившие одноклассники, визжа от утрированной радости, обнимая и целуя друг друга.

Докурив сигарету и затушив ее о землю носком ботинка, Алексей развернулся в обратную сторону и буквально вмялся в мужскую, широко расплывшуюся фигуру, словно в старый, пропитанный потом надувной матрас, который слегка подсудулся.

— Извините! Я не... — проговорил Алексей.

— Нам туда!

Мужик толстым пальцем указывал в сторону бара.

Алексей присмотрелся.

На мужике были черные лаковые ботинки с острыми носами, вероятно купленные еще при социализме и до этого дня ни разу не надетые, джинсы неопределенного цвета, застиранная черная майка и одногодок ботинок, почти новый вельветовый пиджак с налокотниками из искусственной кожи.

Мужик пытался улыбаться, но его улыбка тонула в огромных щеках, впрочем, как и глаза, которые блестели синим холодом сквозь небольшие щелки. Обрамляющие обширную плешь волосы свисали слипшимися волнами, закрывая уши и затылок.

Мужик, запрокинув голову назад, произнес:

— Опять не узнал, да?

— Филиппов? — не веря своим глазам, спросил Алексей. — Саша, ты?

— Ну, привет! — усмехнулся Филиппов.

— Привет, Саш.

— А ты че ж, сбежать хотел? Да?

Лицо Филиппова засияло сальной радостью от мысли, что он опять поймал бывшего одноклассника в момент, когда тот хотел ретироваться, но теперь уже воочию. Он все это время стоял позади Алексея, наблюдая за ним.

— Да нет. Просто не понял: тут — не тут.

— Тут.

Филиппов подхватил Алексея под руку и повел в указанном направлении.

— Я тут лет двадцать не был, — оправдался Алексей.

— А мы тут каждый год собираемся, что-то вроде традиции. Ничего не изменилось, только вон зассали все.

Филиппов открыл дверь и, улыбаясь, пропустил Алексея первым, словно опасаясь, что одноклассник сбежит в последний момент.

Полупустой мрак ресторана пах сыростью и пылью, покрывающей выцветшие коричневые шторы с дырами от пьяных сигарет.

Массивные дубовые столы, модные в свое время, были покрашены черной морилкой, отчего сбитые углы светились еще сильнее, вызывая чувства жалости и скорби.

Пройдя мимо двух, вероятно, бывших бандитов, спасающихся пивом, и смеющихся девиц неопределенного возраста, которых обхаживал водкой поджарый мужичок лет пятидесяти, выдававший поговорки, каждый раз разливая своим дамам по рюмкам.

Филиппов подвел Алексея к трем сдвинутым столам, вокруг которых сидело человек десять-двенадцать.

— А вот и наша звезда! — завопил Филиппов, выставя Алексея вперед. — Встречайте!

Из мужчин никто не встал, не протянул руку, словно Алексей не уезжал на двадцать лет, а выходил покурить.

Теплякова, первая красавица в классе, сидела с густо нанесенным на одутловатое лицо макияжем. Но поглядывая так же, как и в школьные годы, свысока из-под полуприкрытых глаз, произнесла:

— Ну, садись, раз пришел, — и указала рукой на место рядом с собой.

Алексей заметил, что все были одеты «нарядно», видимо, в вещи, которые когда-то были куплены «за дорого» и хранились до больших праздников.

«Значит, готовились, — подумал Алексей. — Значит, будут споры за жизнь и все-ленскую несправедливость».

Алексей сел рядом с Тепляковой и погрузился в облако пряно-сладкого запаха, исходящего от нее, да она всегда любила заполнять собой пространство, вспомнил он.

— Ну, как жизнь, Кузнецов? — снисходительным тоном спросила Теплякова, стараясь скрыть свое волнение.

Да, она волновалась. Алексей, тот, кого она игнорировала в школе, тот, кто для нее обдирал клумбы по всему району в надежде растопить сердце красавицы, заставлял ее подъезд цветами, поскольку, со слов матери Джульетты восьмого «А», «в доме цветы больше некуда ставить».

Та, перед кем трепетали все мальчишки с первого по десятый, теперь надеялась ухватиться за возможный и, вероятно, последний шанс.

— Да, вроде норм, — почти формально ответил Алексей. — Как ты?

— Как видишь, цвету и пахну, — за напускной надменностью в голосе звучали нотки грустной самоиронии.

Алексю налили штрафную, и под всеобщее улюлюканье он выпил.

В животе потеплело. Тепло растеклось по телу и достигло мозга. Свет и лица собравшихся стали мягче.

Далее все происходило по сценарию, который Алексей не раз видел на подобных встречах — одноклассников, одноклассников, коллег по работе. Сначала были заду-

шевные разговоры и завуалированное хвастовство, дабы поднять себя в глазах собравшихся, потом переходили к выяснениям и спорам.

Алексей не слушал разговоры, он вглядывался в лица бывших школьников, пытаясь угадать, в какой момент своей жизни они отказались от своих мечтаний, произошло ли это намеренно, под влиянием обстоятельств, или это случилось незаметно для них самих.

«Человек же не может потеряться по жизни специально, — думал Алексей, иногда отвечая на едкие вопросы собравшихся о жизни в столице. — И потом, тут же не весь класс. Где Сазонова? Смотров? Да и другая половина класса. Может, они заняты чем-то высоким, что-то изобретают, создают, делают какие-то научные открытия. Потехин — как вспоминал Алексей — хотел стать врачом и проводить операции на сердце. Может, в эту минуту он держит в руках чье-то сердце, спасая жизнь. Может».

— А где Лиза? — вдруг вспомнил Алексей.

— Какая? — Филиппов разливал водку, явно не понимая, о ком речь.

— Нечаева.

Присутствующие затихли.

— Ну а ты че, не знаешь? — Теплякова пристально посмотрела на Алексея.

— Нет.

Тишина за столом стала звенящей.

Алексею показалось, что смех девиц, доносившийся с другого конца зала, стал громче. Этот смех усиливал чувство пустоты, постоянно гнетущее Алексея.

— Давайте за Нечаеву, раз вспомнили, да, — предложил Филиппов, и глядя на Алексея, хихикнул.

Все подняли рюмки и не чокаясь выпили.

Алексей почувствовал изнутри удар в грудь, все тело сжалось от внезапного холода, словно с большой высоты он упал в ледяной океан, и темные воды сомкнулись над ним, затягивая на дно.

Август двадцатидвухлетней давности, который Алексей никогда не вспоминал, который кинолентой жизни был вытеснен из памяти, пронесся со всеми подробностями и мельчайшими деталями в сознании Алексея за один миг.

Это было последнее, как тогда думал Алексей, лето в городе Н. В школе экзамены были сданы, аттестат уже лежал в одном из столичных вузов, и Алексей, переполненный гордостью, радостью и юношеской значимостью, беспечно проводил дни до начала занятий в городке детства, уже тогда казавшемся ему чужим.

Алексей, гуляя по городу, глядел на жителей с чувством снисходительной жалости: «Они никогда не увидят того, что открывается передо мной», — думал Алексей и, преисполненный этим настроением, был необычайно заботлив и внимателен к «маленьким» жителям маленького города.

Он уступал места в транспорте пожилым и беременным, пропускал вперед себя в длинной очереди на кассу какую-нибудь старушку, пару старушек пытался даже перевести через дорогу, но был не понят.

Иногда заходил на дискотеку в центральном парке, где обычно стоял в отдалении, посматривая на танцующих, сложив руки на груди, сожалея об их жизнях, которые они, как предполагал Алексей, непременно потратят впустую.

— Леша, — кто-то коснулся его плеча. — Кузнецов.

Алексей обернулся и не сразу узнал худенькую девушку, стоявшую перед ним.

Темно-каштановые волосы волнами падали на плечи, обрамляя изогнутой рамкой белое, почти мраморное лицо, на котором не было ни грамма косметики, пушистые ресницы, касавшиеся бровей, открывали большие синие глаза.

Девушка, улыбаясь, смотрела на Алексея, словно инопланетянка, выпавшая из времени и модных тенденций того времени. (В моде были яркий макияж и густо накрашенная челка-парус, идущая вверх ото лба.)

- Нечаева, ты? — осмелился предположить Алексей.
- Я, — смущенно ответила инопланетянка.
- Ты,.. — Алексей показал пальцем на отсутствие очков.
- Линзы.
- Линзы, — восторженным эхом повторил Алексей.

Алексей не мог узнать в стоявшей перед ним красавице Лизу — помоечницу, как ее окрестили в школе за то, что ее мать мыла полы в подъездах и выгребала мусоропроводы, забиваемые теми самыми школьниками, что ловко приклеивают клички одноклассникам.

Иногда случалось, и Алексей был тому свидетелем, как эти самые школьные товарищи специально мочились в мусоропровод как раз в то время, когда мать Лизы выгребала очередной засор.

Надо отметить, что тогда мусор был другой, не было столько пластика и упаковок, никто его не заворачивал в полиэтиленовые пакеты — мусор был в основном органический: очистки от картошки, моркови, лука, внутренности птицы, негодные для приготовления, рыбы костей, объедки или испорченные продукты, выбрасываемые прямо из емкости в мусоропровод, поскольку сама емкость могла еще пригодиться — это были помои.

Мать Лизы нередко можно было встретить во дворе с баками на тележке, куда она сгребала эти отходы из мусоропроводов, которые отвозила, стуча железными колесами тележки, в мусорные контейнеры.

За годы службы, даже зимой, сами баки источали вонь настолько сильную, что распространялась она на несколько метров, а если они были наполнены тем, что оставляют после себя жители в летнее время, запах становился пугающим.

И он пугал.

Завидя мать Лизы или услышав знакомый стук железных колес по асфальту, жители домов, словно чумную процессию, обходили тележку и женщину, тянущую ее, стараясь не попасть в поле действия запаха, исходящего от них, боясь, что он может прилепиться к ним навечно.

Лиза знала, что люди чураются их, поэтому в школе не выделялась: носила толстые очки, заправляла волосы в хвост, одета была всегда более чем скромно, ни с кем не дружила, вернее, с ней никто не дружил. Училась неплохо. Но если бы она пропала из школы, ее отсутствие не заметили бы, вероятно, даже через месяц, а то и месяцы спустя на какой-нибудь общей линейке или вроде того.

- Говорят, ты в Москве поступил, — продолжила Лиза.
- Да, в театральный, — почему-то смущаясь, ответил Алексей, — А ты?
- Я в железнодорожный техникум поступила.
- Почему туда?
- Мне нравится. Потом думаю в институт. Может, министром РЖД стану.

Алексей улыбнулся, Лиза улыбнулась в ответ доброй и простой улыбкой, открывая белоснежные зубы, ровный ряд которых нарушал слегка повернутый клык с левой стороны. Эта деталь делала красоту бывшей теперь одноклассницы живой и настоящей.

Заиграла медленная музыка.

- Хочешь потанцевать? — неожиданно для себя предложил Алексей.
- Да, — ответила Лиза.

Лиза, вероятно, танцевала с кем-то, да еще публично первый раз.

Она поглядывала по сторонам, заливаясь румянцем, что для Алексея не осталось незамеченным.

— Душно тут, — сказал Алексей.

И хотя танцплощадка находилась под открытым небом, Лиза согласилась:

— Немного.

— Хочешь, прогуляемся? — Алексей остановился.

— Да, — ответила Лиза.

Они вышли с танцплощадки, прошли мимо тира и, обогнув колесо обозрения, вышли на аллею акаций.

Акации были посажены за каждой лавочкой вдоль этой длинной аллеи, так что их кроны, нависая уютной беседкой, почти скрывали сидящих там влюбленных.

Акации уже отцвели, но все еще отдавали свой медовый аромат в теплый воздух парка. Посреди аллеи, разделяя ее на две части, и по обоим ее сторонам от лавочки к лавочке до самого выхода из парка толпились солнечные рудбекии, ярко-рыжего цвета, фиолетовые, красные, белые астры, синие и белые брахикома, желтые кореописы, бордовые космеи, лепестки которых, наверно, все девочки в детстве приклеивали на ногти. Красные сальвии мерились ростом с красными пеларгониями, стоя у нежно-розового флокса. Белые циннии, чуть оттесняя пестрые георгины, изящно демонстрировали себя в лучах теплого света фонаря. И только пижма девичья белым поясом спокойно тянулась вдоль всей длины тротуаров.

Лиза остановилась и несколько раз глубоко вздохнула. Запах акаций и всего этого многоцветия висел в теплом вечернем воздухе, он обволакивал, врвался с каждым вздохом в легкие и там, уже распространяясь по всему телу, наполнял его. Лиза чуть пошатнулась и инстинктивным движением взяла Алексея за руку.

— Голова закружилась, — проговорила она.

— Хочешь, сядем? — предложил Алексей, высматривая свободную лавочку.

— Нет, все хорошо. Давай пройдемся.

— Давай.

— Люблю сюда приходить в мае, когда цветет акация, — Лиза показала рукой на дерево.

— А я никогда не видел, как цветет акация, — отметил Алексей.

— Ты просто не замечал, — улыбнулась Лиза.

Они спустились вниз по аллее, вышли из парка, пересекли улицу с одноэтажными деревянными домами и вышли на остановку рядом с центральной площадью, на которой обычно зимой ставят городскую елку.

Большую часть пути они молчали и улыбались. Если разговор заходил, то он был о будущем и планах на него.

Школу не вспоминали.

Алексею было стыдно за тот случай у мусоропровода и что он не только не остановил, но и смеялся вместе со всеми.

Стыдно ему было и за свои нелепые ухаживания за Тепляковой, которую он не любил, а действовал исключительно из желания быть сопричастным к этому чувству, внезапно охватившему всю школу к этой строптивой девице.

Лиза не то чтобы не хотела вспоминать школу, она забыла про нее, она была наполнена запахом акаций и поздних цветов.

— Автобусы, наверно, уже не ходят. — Лиза посмотрела на маленькие часики.

— Я тебя провожу, — и зачем-то добавил: — Нам же все равно в одну сторону.

— В одну, — улыбнулась Лиза.

Примерно через час они добрались до дома, остановились у подъезда Лизы.

— Спасибо, — сказала она.
— За что?
— За вечер, за то, что проводил.
— Так мне же по пути, — пошутил Алексей, решив тем самым сгладить неловкость, возникшую на остановке, но только усилил ее.

Оба улыбнулись.

— Хочешь, завтра сходим куда-нибудь? — через паузу добавил Алексей.
— Да, — ответила Лиза.
— Давай в пять у аптеки.
— Давай.

Дождавшись пока Лиза скроется за дверью подъезда, Алексей пошел домой, радость, гордость и смятение переплетались в его груди.

Они встретились в пять. И встречались потом каждый день.

Три недели Леша и Лиза гуляли по улицам города, ели мороженое в скверах, катались на каруселях в парках, ходили вместе на пляж, отчего кожа Лизы приобрела легкий бронзовый оттенок, и говорили о жизни, о людях, о планах, а когда не было слов — целовались.

Алексея теперь удивляло, как могло случиться, что Лизу, такую умную, искреннюю и простую в общении, игнорировали, а точнее, презирали в школе. Их мысли по разным вопросам были схожи, и Алексей начинал чувствовать привязанность к Лизе и необходимость общения с ней.

Лиза влюбилась.

Она не скрывала этого, притворяясь безразличной. Не играла в игры, в которые обычно играют люди, боясь первыми проявить свои чувства. Для нее это было в первый раз, и она еще не знала про все эти уловки и манипуляции.

Она с простотой и искренностью могла убрать из уголка губ Алексея крошку от вафельного стаканчика, продолжая увлеченно рассказывать о книге, которую начала читать.

Алексей видел эти изменения в их отношениях, они ему нравились, только он никак не мог измениться сам. Он старался испытать к Лизе то, что она испытывает к нему, но не мог, он словно хотел зажечь огонь в ночном лесу, да только отсыревшие спички, искрясь и шипя, никак не хотели зажигаться.

Алексей пытался внушить себе это чувство, совершая поступки влюбленных, которые он подсмотрел в книгах и фильмах, убеждал, заставлял себя его испытывать, искал его в себе, но находил лишь сочувствие, сострадание, жалость, привязанность, желание видеть, сексуальное влечение, и даже мысленно объединив все эти чувства в одно, Алексей, как слепец от рождения, знающий цвета только на слух, интуитивно понимал: это не любовь.

И чем дольше он искал в себе это чувство, тем явственнее осознавал, что любви в его сердце нет не только по отношению к Лизе, но к другим, к кому любовь должна быть априори, по факту рождения — к матери, да и к самому себе.

Это открытие испугало его.

Встречаться с Лизой Алексей стал реже, придумывая какие-то неотложные дела, стараясь таким образом дотянуть время до своего отъезда на учебу.

Лиза верила и понимающе соглашалась встретиться на следующий день и следующий.

В один из следующих дней, в который Алексей якобы должен был помогать своей матери на даче, он столкнулся с матерью Лизы, которая тащила свою тележку через двор, она улыбнулась Алексею и, словно стесняясь своего голоса, сказала:

— Здравствуй, Алеша.

— Здравсьте, тетя Люб. Как Лиза? — проямлил он.

— Ждет, когда ты вернешься с дачи, — улыбнулась она Лизиной улыбкой.

От стыда Алексею стало не по себе. Он отвел взгляд и тут же увидел, как дворовые ребята посмеиваются, глядя на них.

— Мне пора, тетя Люб. Я позвоню сегодня, — Алексей пошел быстрым шагом к своему подъезду.

Ни в этот день, ни в последующий он не звонил, но каждый раз, подходя к дому, сначала выглядывал из-за угла, проверяя, нет ли помоечницы.

За два дня до отъезда небо словно прорвало. Алексей сидел у окна, смотря на проливной дождь.

Вначале дома появилась женская фигура в легком платье, которое насквозь промокло и прилипло к телу бегущей, она подошла к подъезду и взглянула наверх — это была Лиза.

Несколько секунд посмотрев на Алексея, она зашла в подъезд. Алексей, накинув вязаный кардиган, вышел ей навстречу.

Пока томительно долго поднимался лифт, Алексей подбирал слова — он не знал, что говорить. Подобная ситуация была первой, да и последней — в дальнейшем он не позволял себе заходить в отношениях далеко настолько, чтобы это требовало их объяснений.

С мокрых волос, прилипших к загорелому лицу Лизы, стекали капли дождя, ото лба по обгоревшему на солнце носу и щекам, капая с подбородка на почти прозрачное от воды платье с выцветшими маленькими цветочками, и уже с подола, как продолжение дождя, падали на летние полуботинки черного цвета, смывая с них следы фломастера, которым были замазаны потертости.

Лизу знобило.

Алексей предложил кардиган, Лиза отказалась.

— Я беременна.

Губы ее дрожали. Лиза подняла мокрые ресницы — в Алексея ударил синий, прожигающий отчаянием взгляд.

Алексей сел на ступеньку, закрыв лицо руками.

— Ты это точно знаешь?

— Да, третья неделя. Я только что от врача.

— Что будешь делать?

— Не знаю. А что нужно делать?

К тому, что перед ним встанет выбор, последствия которого будут на его совести, Алексей готов не был.

Он сидел и мысленно задавал себе вопрос: «Зачем? Зачем я вообще сделал это?» Тогда, на пляже, оставшись после захода солнца, ожидая ночную дискотеку на другом берегу озера... Она же спрашивала, спрашивала дважды: «Ты уверен?» Алексей был не уверен, но ему так не терпелось почувствовать себя мужчиной, так хотелось именно в этом качестве оправиться на учебу в столицу, что осознание факта использования для этих целей невинного человека было совершенно размыто этими желаниями.

— Может, к врачу? Пока еще не поздно, — Алексей смотрел через растопыренные пальцы ладоней, закрывающие лицо.

— Нет! — отрезала Лиза.

Алексей сомкнул пальцы.

— Я уезжаю. Учиться. Я не могу... Мне рано. — Он тер ладонями лицо, сжимая его все сильнее. Вдруг резко остановился, опустил руки и твердо спросил;

— Хочешь, как мать, стать помоечницей?

Лиза застыла, не донеся руку до лица в желании смахнуть с него остатки дождя. Она стояла так не в силах пошевелиться, ей казалось что любое движение тела будет выглядеть глупо и нелепо. Ее сознание разрывалось от несовместимости происходящего с ее представлениями о человеческом — как то, что не перестает, может перестать? Как человек может делать то, чего человек, как ей казалось, делать не может.

Из квартиры снизу заиграло «Вернись в Сорренто», поставленное на всю громкость.

Усилием воли Лиза закончила движение — собрала дождь с лица в кулак и, резко опустив руку вниз, сбросила с ладони воду на бетонный пол подъезда.

Лиза хотела посмотреть последний раз Алексею в глаза, но он отвел взгляд.

Сквозь музыку он слышал, как, спускаясь по лестнице, похлопывая, стучат ее ботинки.

Дверь захлопнулась. Больше он ее не видел никогда.

Да, один миг.

Алексей, все еще держа полную рюмку в руках, спросил:

— Как это произошло?

В ресторане заиграла музыка.

— Да ты выпей. — сказал Филиппов, уже готовый рассказать историю.

Алексей выпил.

Филиппов обвел всех взглядом, словно они были членами тайной организации — все опустили глаза.

— Ну, в общем, в августе, это кажется, случилось, — не давая говорить Павлушину, начала чеканить Теплякова.

— Родила она раньше, — поправил Филиппов.

— Да, но случилось это в августе, я точно помню, примерно в этих числах, — настаивала Теплякова. — А родила она весной, мертвого ребенка родила.

— Она родила в мае, — спокойным, но твердым голосом перебил Алексей и продолжил, отделяя каждое слово: — Живого. Девочку она родила. В роддоме ребенка застудили — пневмония. Неправильно сделали укол в темечко.

— Ну, тебе видней, — продолжила Теплякова, закатив глаза. — Только все думали, что мертвого, ну, и некоторые придурки глумились над ней.

— Куда, мол, помоечница ребенка дела? На помои отправила? Ну, и она совсем с катушек съехала, гулять там начала, пить по-страшному. Ну, в третьем подъезде они сидели, где все шпанье собиралось. Накурились они или пьяные были — не суть, только эти козлы заслонку с мусоропроводной трубы сняли и в шутку под всеобщее ржание затолкали ее туда вниз головой. Так и торчала она там, пока жители подъезда не стали жаловаться, что труба забита и воняет.

За матерью ее пошли — ну, жаловаться. А когда она пришла... Ну в общем... Да-а...

Эти ублюдки-то сговорились и сказали, что, мол, она сама туда полезла. Ну в общем, разбираться не стали, пьяная баба, все такое, оформили как несчастный, ну, и отпустили всех.

Мать ее убивалась, бегала тут по двору — орала, а ночью залила бензином все мусоропроводы в доме и подожгла.

Вовремя кто-то увидел — потушили, а саму забрали куда-то, ну больше ее никто не видел.

На маленькую сцену ресторана вышла певичка и запела что-то из репертуара российских певиц периода девяностых, что вызвало дикую радость девиц, сидящих с мужичком, и они, громко подпевая, вышли к сцене танцевать.

Алексей смотрел на своих одноклассников, словно сквозь воду, звуки их разговора о какой-то новой афере, которую придумали телефонные мошенники, были глухими, а слова еле различимы.

Алексей резко встал и, протиснувшись из-за стола, под предлогом покурить вышел на улицу.

Он шел от ресторана прочь и уже между деревьями за домами бежал не разбирая дороги, пока какая-то сила ни схватила его за ноги.

Алексей, словно в замедленной съемке, пролетел несколько метров и со всей дури протаранил головой дерево, сломав лбом торчащую из него ветку. В голове зазвенело, Алексей буквально стек по дереву на землю и сел, прислонившись к нему виском.

Голова не болела, только гул волнами накрывал лоб.

Алексей сквозь полуоткрытые глаза видел, как стекавшая струйка крови, раздвоившись над бровью и пробежав по носу и виску, вновь соединившись на щеке, падала с подбородка на рубашку в области груди, отчего мелкий рисунок белого цвета становился бордовым. Пятно становилось больше и больше, Алексею показалось, что пятно отделилось от рубашки и начало растекаться по воздуху, поглощая весь мир вокруг, включая и его самого.

Наступила темнота.

4. Начало

Очнулся Алексей уже в общей палате отделения травматологии.

Причиной падения, как выяснилось позже, была собака, точнее, длинный поводок, на котором она была.

Алексей не заметив этот черный тонкий шнурок и запутался в нем ногами.

Было раннее утро, и соседи по палате еще спали.

Алексей, ощутив повязку на голове, огляделся. В палате, помимо него, было еще пять человек.

Кто-то лежал с загипсованной ногой, подвешенной для растяжения, кто-то, как и Алексей, с перебинтованной головой, а один, у окна справа, лежал словно мумия, — бинты с головы, открывающие только лицо, переходили в гипс на теле и руках, скрывающий их до кистей. Больной тяжело дышал, пальцы, торчащие из гипса, вздрагивали в беспокойном сне.

На своей тумбочке рядом с кроватью Алексей увидел аккуратно сложенную в тарелке пирамиду из груш, окруженную ровным рядом из мандаринов, похожих на оранжевых стражников, защищающих свою крепость.

Эту композицию из фруктов, стоявшую каждый праздник на столе, Алексей знал с детства.

У него защемило в груди, и он невольно выдохнул:

— Мама... — невольно произнес он.

Мать узнала, что сын в больнице, еще вечером, как только привезли Алексея, — ей сказала дежурившая медсестра.

Мать не отходила от операционной, пока сыну зашивали голову, и только когда вышел врач и сказал, что все будет хорошо, она поднялась к себе в кардиологию, где не смогла уснуть до утра и, как только стало возможным, спустилась в отделение к Алексею, периодически поглядывая в его палату, ожидая, когда он проснется.

Дверь в палату, скрипнув, приоткрылась, и Алексей сквозь отеки веки различил в дверном проеме лицо матери.

Мать, увидев сына неспящим, молча зашла в палату и села на край его кровати. Она хотела что-то сказать, но лишь глубоко вздохнула. Алексей отвел взгляд.

Из крана для умывания, находившегося в палате, капала вода — сто шестьдесят две капли насчитал Алексей, пока больной, лежащий у окна, проснувшись, не попросил позвать нянечку.

— Я схожу, — тихо сказала мать.

Она встала и, подойдя к двери обернулась, видимо желая сказать что-то, и тут Алексей, не видевший мать довольно долгое время, вдруг увидел ее всю, целиком, сейчас и здесь.

Ее острые некогда плечи опустились и подались вперед, делая спину усталой. Рука, сжимавшая около шеи лацканы больничного халата, была худой и невероятно бледной.

Алексей вздрогнул — ему показалось, что вот сейчас она сделает шаг через порог палаты и навсегда растворится в утреннем полумраке коридора.

Новое чувство наполнило Алексея, и, хотя оно было для него неизвестным, он точно узнал его — это было оно, то, которое он тщетно искал в себе.

— Мама! — вырвалось у него.

Не слышавшая этого слова более двадцати лет мать замерла, ее лицо, густо покрытое морщинами, просветлело, словно часть этих шрамов, оставляемых временем, исчезло.

Алексей хотел выразить свое новое чувство словами, но лишь с искренней надеждой спросил:

— Ты придешь еще сегодня?

— Конечно, — мама улыбнулась и вышла из палаты.

Вскоре пришла нянечка, за ней медсестра, и день пошел по привычному расписанию больницы.

В течение всего дня у Алексея не выходил из головы образ матери, стоящей у двери, и этот вздох. Сыну так захотелось услышать несказанные слова матери, что он, погруженный в ожидание вечера, несколько раз неосознанно пытался встать с кровати, но не смог, сознание ослабевало, тело немело, а в голове начинала пульсировать боль.

Лишь когда кто-то выходил или заходил в палату, Алексей старательно вглядывался в глубь больничного коридора, высматривая знакомую фигуру.

Мать не пришла.

Словно в детстве обманутый ожиданием материнского внимания, Алексей вновь почувствовал обиду и досаду, которые, как ему казалось, он научился подавлять еще в раннем возрасте. И сейчас прежние чувства проявились еще острее. Словно спрятанную глубоко и надолго в подвале закваску вынесли на солнце, бросив в нее пачку дрожжей, и теперь, подавляемое годами, бурлило и пенилось с новой силой, наполняя тело изнутри в желании, разорвав его, вырваться наружу.

Сделали укол обезболивающего и снотворного — Алексей уснул.

Он не знал, что всегда открытая дверь, ведущая из кардиологии на лестницу, по которой можно попасть в любое отделение корпуса больницы незамеченным, была закрыта, так как в этот день руководством проводилась внеплановая проверка больницы. И, конечно, засыпая, он не знал, что мать сейчас стоит у этой самой двери, безысходно уперевшись лбом в матовую стеклянную филенку.

— Кузнецова, идите в палату, — строго проговорила медсестра, толкая перед собой стойку для капельницы.

— Мне надо к нему, он ждет.

— Ключ у начмеда. Завтра.

— Может, еще позвонить в отделение?

— Сказали же — сделали снотворное, спит он. А вам волноваться нельзя. Идите в палату, я сейчас приду укол ставить, — медсестра закатила стойку в палату.

— Я его никогда не обманывала, — сама себе сказала мать Алексея, выдохнув слова на стекло.

Это было правдой, мать никогда не обманывала сына, даже когда он был маленький, когда все родители придумывают какие-то истории, чтобы объяснить те или иные вещи, или убедить сделать то или иное, или просто успокоить.

Саму ложь она считала унижительной для себя и своего ребенка и не хотела прибегать к ней в воспитании, системой которого она, сама не зная того, выбрала агогэ.

Ей тогда казавшиеся излишними внимание и ласка, которые как она считала, делают мальчика мягким, неспособным к выживанию в этом мире, теперь не знали выхода. Сердце стукнуло раз, быстрыми раз-два, снова раз — и замерло навсегда.

После выписки сразу из больницы Алексей поехал на могилу матери, где встретил соседку, которая занималась похоронами.

— Хорошая женщина была, Царствие ей Небесное, — причитала Нина Семеновна.

Алексей смотрел на фотографию матери в рамке, прислоненную к новому деревянному кресту, воткнутому в свежую землю.

— Любила она тебя, ох как любила, — женщина взяла из рук Алексея свечку и, воткнув ее в землю рядом с фотографией, добавила: — Только любовь-то... она как противогаз на пожаре — надо успеть делиться.

Алексей заметил, как на свечке под самым ее пламенем собралась капля воска и, немного помедлив, упала в рыхлую землю.

Зазвучало «Вернись в Сорренто», Алексей достал телефон из кармана, но отвечать не стал.

Слушая любимую песню матери, он смотрел на падающие капли воска и, как заклинание, повторял:

— Я успею... Я еще успею...